

Петр Валуев

У покрова в Лёвшине



Петр Валуев

У покрѡва в Лѣвшинѣ

«Public Domain»

Валуев П. А.

У покрова в Лёвшине / П. А. Валуев — «Public Domain»,

«— Опять за книгой, – сказала сердито Варвара Матвеевна, войдя в комнату, где Вера сидела у окна за пяльцами, но не вышивала, а держала в руках книгу и ее перелистывала. – Урывками мало подвинется работа, и ковер к сроку не успеет. – Я недавно перестала вышивать, тетушка, – сказала молодая девушка, покраснев и встав со стула, на котором сидела. – Я целое утро работала и только хотела дать глазам поотдохнуть...»

Содержание

I	5
II	8
III	13
IV	18
V	24
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Петр Валуев

У покрова в Лёвшине

(В семидесятих годах)

I

– Опять за книгой, – сказала сердито Варвара Матвеевна, войдя в комнату, где Вера сидела у окна за пяльцами, но не вышивала, а держала в руках книгу и ее перелистывала. – Урывками мало подвинется работа, и ковер к сроку не успеет.

– Я недавно перестала вышивать, тетушка, – сказала молодая девушка, покраснев и встав со стула, на котором сидела. – Я целое утро работала и только хотела дать глазам поотдохнуть.

– Хорош отдых! Как будто читать не хуже для глаз, чем шить по крупной канве. Впрочем, мне не было бы до того никакого дела, если бы ты сама не обещала вышить ковер к сроку. Я в твои дела, как ты знаешь, не вмешиваюсь.

– Ковер будет готов к сроку, тетушка; осталось дошить менее двух полос, а до именин отца благочинного с лишком месяц.

– Знаю – но мало ли что может случиться; ты здоровьем похвалиться не можешь: пожалуй, вдруг свихнешься и сляжешь; пожалуй, и глаза от усердного чтения заболеют. Целое утро, ты говоришь, вышивала; посмотрим, на сколько в целое утро дело подвинулось.

Варвара Матвеевна подошла к пяльцам и костлявою буро-желтою рукой откинула холст, которым была прикрыта часть канвы. Справедливость сказанного Верой была очевидна. Но лицо Варвары Матвеевны не прояснилось. Она взглянула на племянницу исподлобья, с выражением сосредоточенной злости во взгляде, сердясь за то, что не было за что сердиться, и, отойдя от пялец, сказала:

– Глаза все-таки следует беречь. Чтение – плохой отдых. И что читала ты? Верно, какой-нибудь роман или опять немецкие вирши.

Вера молча подала Варваре Матвеевне книгу, которую она еще держала в руках. Это было старое издание «Подражания Христу» перевода Сперанского. Варвара Матвеевна взяла книгу, раскрыла и, тотчас закрыв, положила на стоявший вблизи столик. Имя Христа становилось вразрез всему, что ей просилось на язык. Она с полминуты промолчала; но, заметив на окне другую книгу, указала на нее Вере и спросила:

– А там что за книга?

– Немецкая, – отвечала Вера. – «Очерки Природы» Гумбольдта. Мне их дал Карл Иванович.

– Карл Иванович твой – записной поставщик книг, – заметила Варвара Матвеевна. – Впрочем, надеюсь, что он худых не ставит. Гумбольдт... против Гумбольдта ничего сказать нельзя.

Варвара Матвеевна не знала по-немецки и Гумбольдта даже в переводе никогда не читала; но имя его ей было известно из журнальных статей, и она сознавала, как сама выразилась, что против этого имени нечего было говорить. Она окинула взглядом комнату, как будто отыскивая в ней что-нибудь менее безупречное, чем Гумбольдт, но, по-видимому, не нашла, потому что более ничего не сказала и вышла из комнаты, по обыкновению не затворив за собой двери.

Вера смотрела вслед тетушке, не двигаясь с места. Судорожное движение сказывалось в чертах лица; на глазах выступили слезы. В это время стенные шварцвальдские деревянные часы пробили два и обратили к себе внимание молодой девушки. Она взглянула на них, потом

тихо подошла к двери, заперла ее, вернулась на свое место перед пяльцами, села, но, не принимаясь за иголку, сжала обе руки и заплакала.

– Боже мой! Боже мой! – проговорила она. – Какое мучение!

Крупная слеза, скатившаяся на цветок, вышитый шерстью бледно-желтого цвета, испугала Веру. Она торопливо схватилась за лежавший на пяльцах платок, отерла им след слезы на шитье, потом глаза – и принялась за работу. Однообразно стучал маятник часов; однообразно ходил он справа влево и слева вправо; иголка однообразно пронизывала канву сверху вниз и возвращалась снизу вверх сквозь соседние нити. Время шло, как всегда идет, без прерыва, без возврата, как будто мимо всех, но всех незаметно захватывая и унося с собой. Вера безостановочно продолжала работу и только бросала иногда через окно беглый взгляд на улицу. Но когда часы пробили половину третьего, она остановилась, накинула холст на шитье и, отодвинув пяльцы, встала у окна. Между тем дверь отворилась, и в комнату вошел отец Веры, Алексей Петрович Снегин, служивший начальником счетной части в одном из местных правительственных учреждений и, по-видимому, только что возвратившийся со службы, потому что он был в мундирном фраке, с орденом на шее и с другим в петличке. На его добродушном лице явно выражалось двойное удовольствие быть дома и увидеть дочь.

– Здравствуй, Вера, – сказал Алексей Петрович почти весело, потому что совершенно веселым он никогда не был. – Я так рано вышел сегодня, что не успел с тобой повидаться.

– Здравствуйте, папá, – сказала Вера, встретив отца на середине комнаты. – Я к вам приходила, но уже не застала.

Она поцеловала руку отца; он поцеловал ее в лоб и, взяв за обе руки, стал ласково в нее всматриваться.

– Радуюсь, что ты не за пяльцами, – продолжал Алексей Петрович, – а смотрела в окно на свет Божий. Сегодня погода чудная. И ясно и почти тепло. Начинает веять весной. Ты, конечно, не выходила из дома?

– Нет, не с кем было.

– Жаль; но я успею с тобой немного пройтись после обеда. Потом мне опять нужно быть у начальства. Вечером собирается какая-то комиссия... Но что значит это, Вера? Ты плакала... Что случилось? – Алексей Петрович повернул дочь к свету. Ее глаза говорили, что он не ошибся.

– Ничего не случилось, милый папá, – сказала Вера. – Так, на минуту что-то грустно стало. Но это уже прошло.

– Верно, Варвара Матвеевна к тебе опять за что-нибудь привязалась. Была она у тебя, что ли?.. Да скажи же, моя милая, была или не была?

– Заходила, папá. Она все тревожится, что ковер к сроку не поспеет.

– Уж этот мне ковер! И отец благочинный! И вся эта горькая святость! Смотри, она теперь будет торопить обед, чтобы не опоздать к вечерне.

Алексей Петрович обнял дочь, нежно поцеловал ее и сказал:

– Надо терпеть, Вера. Делать нечего. Ты терпишь ради меня, я ради тебя. Это нас должно утешать.

– Будем терпеть, папá.

На лице Алексея Петровича давно исчез последний признак того настроения, которое в нем изображалось при входе в комнату дочери. Брови сдвинулись, голова поникла. Он молча простоял с минуту, потом махнул рукой и вышел.

Вера возвратилась к окну. Оно выходило на Покровский переулок, недалеко от его пересечения, так называемым Денежным, и от церкви Покрова в Лёвшине. В первопрестольной Москве, где насчитывается или насчитывалось до сорока сороков церквей, почти каждый дом стоит в виду одной из них, и почти каждый адрес может быть приходским. При этом наименование каждого прихода имеет, так сказать, исторический звук, то есть звучит чем-то истин-

ным, действительно бывшим; оно произошло от условий или обстоятельств, которых уже нет, но которые прежде существовали, – одним словом, завещанно стариной, напоминает о старине и для уразумения требует справок со стариной, а не произвольно дано или придумано со дня на день, как названия Ковенских или Митавских переулков в Петербурге. Между такими наименованиями одни поражают своею странностью, как Николы на Курьих ножках, другие прямо указывают на связь с исторической эпохой, как Николы Стрелецкого, третьи произошли от случайных временных признаков, как Николы в Щепках. Еще другие, очевидно, имели в прежнее время топографическое значение и заимствовались от местностей, которые обозначались теми же названиями. Таковы, например, Николы в Хамовниках, Покрова в Лёвшине. Исследование и разъяснение происхождения всех придаточных наименований московских церквей могли бы составить предмет обширного и весьма любопытного исторического труда.

Снегины жили в одном из тех небольших деревянных одноэтажных домов на высоком каменном фундаменте, которых до сих пор много в Москве между Пречистенкой и Арбатом и Арбатом и Поварской. Из окна, у которого стояла Вера, была видна вся ширина не слишком, впрочем, широкого Покровского переулка и часть его изгиба в сторону церкви Успения на Могильцах. Прохожих почти не было; проезжих еще менее. Когда Вера их завидывала, она несколько отслонялась от окна, но потом вновь к нему приближалась и по временам бросала беспокойный взгляд на часы.

Горничная отворила дверь и сказала, что обед подан.

– Сейчас, – отвечала Вера, но не тронулась с места.

– Вера, – послышался голос Варвары Матвеевны, проходившей мимо двери. – Пора обедать.

– Иду, – отвечала Вера, но продолжала с встревоженным видом смотреть в окно.

Вдруг ее лицо прояснилось. По тротуару, на противоположной стороне переулка, поспешно шел молодой человек, высокого роста, в статском платье. Поравнявшись с домом, он уменьшил шаг и, увидя Веру, приподнял шляпу и наклонил голову. Вера кивнула ему приветливо головой и, улыбаясь, провожала взглядом, пока он не миновал окна. Потом она торопливо направилась к двери.

– Вера, – сердито сказала Варвара Матвеевна, отворяя дверь. – Отец ждет.

– Иду, тетушка, иду, – проговорила Вера и пошла вслед за Варварой Матвеевной.

II

Кто не видал пасхальной заутрени в Москве, тот не может составить себе понятия о торжественном зрелище, какое оно представляет, и об умиляющем впечатлении, которое оно производит. Можно говорить о зрелище, говорить, видеть, а не слышать, потому именно, что частью к чувству зрения прямо относятся те отличительные черты, которые принадлежат торжественной ночи на Пасху в Москве. Везде на Руси с особым благоговением празднуется день, который Церковь называет «праздником праздников и торжеством из торжеств»; но нигде, как в Москве, так явственно и торжественно не ожидается и не совершается наступление этого праздника. Нигде пасхальная полночь, час, когда у нас повсеместно принято начинать богослужение, не представляет той величественной картины, которая соединяется с этим часом в Москве. Холмистая местность, на которой раскинут город, тому способствует. Она расширяет в нем горизонты, разнообразит их очертания и уровни и почти отовсюду открывает виды в даль. Ночи в апреле, когда обыкновенно настает Пасха, большею частью бывают ясные, и звездные огни уже горят в небе над городом, когда начинают, с приближением полуночи, в нем зажигаться и множиться земные пасхальные огни. Со всех сторон и по всем направлениям выступают из ночного мрака иллюминированные церкви. Здесь обозначаются верхние архитектурные линии храма, или его купол, или обведенная вокруг него ограда; там одна колокольня острым клином огней врезывается в темное небо; еще далее освещены мерцающим светом стены и башни окраинного монастыря. В самом центре города, возвышаясь над всеми другими огнями, горят кремлевские огни и белеется златоглавый столп Ивана Великого. К нему со всех концов Москвы обращен чающий слух клира и мира. От него ожидается первый торжественный возглас о наступлении Светлого Воскресения. Наконец раздается удар большого колокола – и со всех церквей, ближних и дальних, тысячи колоколов отзываются на призыв их старшего сотоварища. «Христос воскрес!» – говорит большой колокол. «Воистину воскрес!» – отвечают все другие. Гул звенящих голосов сливается в воздухе между небом и землей, а на земле, у входа во все храмы, раздается победная песнь Воскресения.

В одной из московских домовых церквей, близ Пречистенских ворот, оканчивалось служение заутрени. У стены, недалеко от входа, сидел в кресле почетный опекун Василий Михайлович Леонин. Он принадлежал к числу старых знакомых дома, и его болезненное состояние, острый ревматический недуг, часто затруднявший ему всякое движение ног, уже давно обеспечили ему привилегированное место в церкви и то кресло, которое он теперь занимал. Позади его, у самого входа, стоял его сын, молодой человек, пользовавшийся в московском великосветском обществе видным положением и слывший, между людьми старшего поколения, примером исполнения сыновнего долга. Анатолий Леонин, начавший службу по ведомству министерства иностранных дел и состоявший некоторое время при нашем посольстве в Париже, отказался от улыбавшейся ему дипломатической карьеры по желанию отца и переселился на службу в Москву, чтобы иметь возможность с ним не разлучаться и оказывать ему то домашнее заботливое попечение, которого требовали его болезненность и одиночество. Василий Михайлович давно лишился жены, не сохранил в живых других детей и не имел в Москве близких родственников. Он мало бывал в обществе, принимал у себя немногих знакомых и сам навещал немногих. Про него одни говорили, что он богат и копит деньги, другие, что его дела расстроены и что у него много долгов от прежнего времени, когда он вел большую игру. Судя по его образу жизни, следовало предполагать, что первые правы и что у Василия Михайловича не могло быть обременительных забот по денежной части. Он жил в собственном доме, в Старой Конюшенной, недалеко от церкви Успения на Могильцах, а летом проводил два или три месяца в недалекой подмосковной, между прежними Серпуховской и Владимирской почтовыми дорогами. Молодой Леонин со времени переселения в Москву уже два раза сопровождал

отца в деревню. В остальное время года он принимал в московской светской жизни заурядное участие, не возбуждавшее ни с какой стороны особых о нем толков. Он слыл домоседом, по чувству долга и отчасти по своим наклонностям. На него смотрели как на выгодного жениха; но он сам, по-видимому, не признавал за собой этого свойства и вообще не давал повода в нем замечать или предполагать сердечных увлечений.

Заутреня отошла. В промежутке между нею и началом литургии в церкви происходил обычный обмен пасхальных поздравлений. Василий Михайлович встал и, опираясь на трость, слегка прихрамывая на одну ногу, подходил к некоторым знакомым и отвечал на приветствия тех, кто к нему подходил. Потом он подозвал сына и сказав, что чувствует себя усталым и к обедне не останется, заложил одну руку за руку молодого человека и, опираясь на эту руку более, чем на трость, вышел из церкви. Василий Михайлович любил всегда и всем давать замечать свои добрые отношения к сыну и хвалиться его сыновними о нем попечениями.

На верхней ступени лестницы Василия Михайловича встретил его лакей, который взял его под другую руку и вместе с Анатолием Васильевичем стал его сводить с лестницы.

– Заметил ли ты, – сказал по-французски старик Леонин сыну, – с каким завистливым выражением лица на меня посмотрели князь и княгиня Веневские?

– Нет, не заметил, – отвечал молодой человек, – и не догадываюсь, чему они позавидовали.

– Тебе и позволительно не догадываться. Они видели, как мы выходили из церкви и как я на тебя опирался. Они подумали, и не ошиблись, что ты мне под старость и при моих болезнях во всем опора, а затем вспомнили об их сыне, который на тебя не похож и их только огорчает и разоряет.

– Он еще очень молод, и правда, что в нем легкомыслия немало; но я здесь познакомился с ним в прошлую зиму и убедился, что при всем легкомыслии он имеет доброе сердце и благородный характер.

– Может быть; но все-таки отец и мать принуждены себя во всем стеснять, потому что он не изволит стесняться.

– Он служит в дорогом полку, и по желанию отца, который сам в нем служил.

– Ты всегда других извиняешь, любезный друг. Это, пожалуй, и хорошо; но не изменяет дела.

– Я потому иногда извиняю, папá, что, как мне кажется, многое может зависеть от обстоятельств. Обстоятельства могут и вовлекать в ошибки и предохранять от ошибок.

На этом философическом афоризме разговор прекратился. Леонин сел с сыном в карету, которая направилась по Пречистенке, мимо начала бульвара.

– Где встретим мы Пасху в будущем году? – сказал вдруг Василий Михайлович. – Этот вопрос мне приходил на мысль несколько раз во время заутрени.

– Быть может, и здесь, – отвечал нерешительно Анатолий Леонин. – Я все надеюсь, что Теплиц...

– Нет, – прервал Василий Михайлович. – Без зимы в теплом климате мы не обойдемся... Оба снова замолчали.

– Что ж ты не снимаешь своего пальто? – спросил Василий Михайлович, всходя по лестнице, по приезде домой.

– Я еще зайду в церковь, папá, – отвечал его сын. – Теперь там еще идет обедня.

– Так до свидания завтра, мой друг. Я устал и с тобою разгавливаться не буду.

Молодой человек вышел на улицу и быстрыми шагами направился не в ближнюю Успенскую церковь, а к Покрову в Лёвшине.

Церковь была полна, как в эту ночь всегда бывают полны и переполнены все русские церкви. Леонин с трудом протеснился мимо уже расставленных в притворе и в передовой части храма пасхальных куличей, тарелок с крашеными яйцами и пасх, с охранявшими их пристав-

никами и остановился у стены, где знакомый церковный сторож уже уступил свое место. Сквозь расстилавшуюся по всей церкви мглу от фимиама, свечного дыма и взбитой молельщиками пыли Леонин окинул взглядом стоявшую перед ним толпу. В простенке между двумя окнами, на левой стороне, он увидел Веру Снегину, и на ней его глаза остановились. Она стояла позади своей тетки, Варвары Матвеевны Сухоруковой, прислонясь к простенку, и смотрела вперед себя, по направлению к алтарю. Леонин стал выжидать, не оглянется ли она в его сторону, но он ждал напрасно; взоры Веры ни одного раза до окончания службы в эту сторону не обращались.

Обедня отошла. Толпа хлынула к выходу и перед ним стала тесниться. Леонин заметил, что Алексей Петрович Снегин старался провести через нее дочь и невестку и что он и Варвара Матвеевна успели пройти в притвор; но что в самых дверях Веру оттеснили от отца, а затем еще более в сторону, так что теснившаяся мимо нее толпа ей заграждала путь к выходу.

Леонин пробрался к Вере и заслонил ее от двух пожилых и тучных женщин купеческого звания, которые в неразборчивых выражениях жаловались на давку и в своем смятии сердито поглядывали на Веру, как будто прижатая к стене бедная девушка была виновницей давки.

– Позвольте мне взять вас под руку, Вера Алексеевна, – сказал Леонин, – я вас выведу.

– Ах, Анатолий Васильевич! – сказала с просиявшим от радости лицом Вера, – сделайте милость, помогите. Папа и моя тетка уже вышли.

– Я видел это. Я давно слежу за вами...

– А я и не заметила, что вы были в церкви.

– Не удивительно, – сказал, улыбаясь, Леонин, взяв под руку Веру и бережливо продвигаясь с нею к дверям. – Вы ни разу не оглянулись в мою сторону.

– Поздравляю вас со светлым праздником, Анатолий Васильевич. Христос воскрес!

– Воистину воскрес! Дай Бог нам всем светло провести светлый праздник. Ах! Вера Алексеевна, как давно мне не удавалось с вами видеться!..

– И мне так грустно было... Бедная Клотильда Петровна все не может оправиться... Кажется, что наконец на этой неделе ей можно будет выходить из своей комнаты.

– Мне необходимо с вами переговорить, Вера Алексеевна...

Молодая девушка бросила беспокойный взгляд на Леониного.

– Переговорить? – повторила она.

Потом нерешительно спросила:

– О чем? Что случилось?

– Ничего не случилось, но переговорить нужно. Не празднично у меня на душе, Вера Алексеевна. Простите, что я теперь вам говорю это. Не следовало бы на праздник вас тревожить. Но я привык с вами вслух думать; привык ни мыслей, ни чувств не скрывать...

– Вы знаете, что ваша радость и ваша печаль – и моя радость и мое горе, – сказала Вера едва слышным голосом, смотря прямо в глаза Леонину. – Вы мне обещали всегда быть со мною искренни. Разве вы хотите перестать быть искренним?..

– О нет! Менее чем когда-либо... Но мне нужно с вами видеться и говорить. Сегодняшний случай мне может в этом помочь. Мы сейчас выйдем. Представьте меня вашему отцу, под предлогом оказанной вам услуги.

– Охотно, но тогда и моей тетке.

– Конечно...

Между тем Алексей Петрович и Варвара Матвеевна уже вышли за церковную ограду и остановились на улице, недоумевая насчет того, что случилось с Верой. Варвара Матвеевна утверждала, что она была впереди них, и в сопровождении горничной, вероятно, решила прямо идти домой. Алексей Петрович говорил, что он видел, как ее оттеснили назад.

– Вы всегда лучше меня все знаете, – говорила с досадой Варвара Матвеевна. – Нельзя же нам простоять здесь до полудня...

– Не могу же я своим глазам не верить? – говорил Алексей Петрович. – Коли видел, то видел.

– В притворе было так темно, что вы и видеть не могли, – сказала Варвара Матвеевна. В эту минуту Леонин и Вера показались за оградой.

– Не мог видеть? – сказал с торжествующим выражением лица Алексей Петрович. – Вот она.

– Что за молодой человек с нею? – спросила Варвара Матвеевна, подозрительно направив свои неутомимо-подвижные светло-серые глаза на Веру и Леонина.

– Кажется, молодой Леонин, – отвечал Алексей Петрович.

– Какой Леонин?

– Сын Василия Михайловича, почетного опекуна.

– Разве Вера с ним знакома?

– Она с ним встречалась у Крафтов.

– А!.. У Крафтов? – сказала Варвара Матвеевна.

– Да. Карл Иванович и Клотильда Петровна его очень любят. Он товарищ по Дерптскому университету и большой друг их сына, доктора Крафта, который теперь в Петербурге...

Вера опередила Леонина и, подойдя к отцу, торопливо рассказала, что Леонин помог ей выбраться из церкви и, будучи ей уже знаком, просит быть представленным Алексею Петровичу. Скромный и застенчивый Алексей Петрович несколько смешался и даже не решился протянуть руку молодому человеку, когда Вера его подзвала и назвала по имени, отчеству и фамилии. Но Леонин так просто и непринужденно объяснил свое желание быть ему представленным и сам так радушно протянул ему руку, что Алексей Петрович как будто растаял и даже крепко пожал ему руку.

– Не изволите ли вы меня представить и Варваре Матвеевне? – сказал Леонин, еще раз сняв шляпу.

Снегин обратился к невестке и назвал молодого человека.

Варвара Матвеевна все время весьма недружелюбно смотрела на Леонина и едва наклонила голову в ответ на его поклон; но он не смутился и, смотря прямо в ее недобрые глаза с улыбкой, которой он постарался придать выражение простодушного удовольствия, сказал, что давно желал иметь честь ей представиться, хотя бы только в звании близкого соседа.

– Я несколько раз имел честь встречать вас, – прибавил Леонин, – на пути в церковь или из церкви. Соседи подмечают привычки соседей, и я не мог не заметить, что Божий храм вами посещается часто.

– Признаюсь, не помню, чтобы я с вами встречалась, – сухо ответила Варвара Матвеевна.

– Это весьма естественно: во мне ничего, кажется, нет примечательного... Но я должен извиниться перед вами, Варвара Матвеевна, и перед вами, Алексей Петрович, что вас задерживаю на улице. Позвольте проводить вас до вашего дома... Мне почти по дороге.

Вера с видимым волнением следила за неожиданным сведением знакомства между ее домашними и Леониным. Когда Леонин предложил их проводить до дома, она тотчас обратилась к отцу и сказала:

– Пойдемте, папа, уже поздно, и я невольно виною тому, что Анатолий Васильевич вас задержал.

Снегин пошел с дочерью вперед, а Леонин, не всходя на узкий тротуар, следовал за ним по мостовой рядом с Варварой Матвеевной.

– Я много слышал доброго о вас от моих приятелей Крафтов, – сказал Леонин.

Недобрые люди вообще охотно слышат, что их называют добрыми. Лицо Варвары Матвеевны несколько прояснилось.

– Неужели? – сказала она. – Впрочем, они сами добрые люди. Я их вижу не часто, но они добры к моей племяннице, которую я очень люблю. – Глагол «любить» имеет в некоторых устах

какой-то особый, поразительно фальшивый звук, и к таким устам принадлежали уста Варвары Матвеевны. Звук не ускользнул от уха Леонида; но жизнь уже успела его ознакомить с такими впечатлениями, и он спокойно ответил:

– Я не раз слышал об этом от Карла Ивановича и его жены. Они почтенные люди, и я очень дружен с их сыном.

Уже стало светло. Пасха в 187... году была поздно в апреле. Побледневший добела месяц спускался к Воробьевым холмам, а влево от Кремля уже алело и золотилось утреннее небо. Движение на улицах стихало, но еще не прекратилось. Несколько фраз об этом движении, погоде, свежем воздухе и о том, как было тесно и жарко в церкви, дали Леониду возможность продолжать разговор с Варварой Матвеевной до той минуты, когда все остановилось у входа в дом, где жили Снегины. Здесь он откланялся, выждал, чтобы Варвара Матвеевна вошла в дом, и тогда сказал Снегину:

– Надеюсь, Алексей Петрович, что вы позволите соседу навестить вас на праздниках.

– Милости просим, буду очень рад, – отвечал Алексей Петрович.

– До свидания, Вера Алексеевна, – сказал Леонид, подойдя к Вере и подавая ей руку; потом он вполголоса прибавил:

– Буду завтра.

III

– Меня беспокоит Вера, – сказал Алексей Петрович, не дотрагиваясь до чашки кофе, которую ему налила Варвара Матвеевна.

– Ваш кофе простынет, – отвечала Варвара Матвеевна. – Что же вас беспокоит?

– Разве вы не замечаете перемены в лице, даже в голосе? Словно перебогает нездоровье, но перемочь не может.

– Вы всегда легко тревожитесь. У всех людей в иные дни вид как будто другой.

– Она почти ничего не ест за обедом и стала еще молчаливее, чем прежде.

– И это вам кажется. Вы так много о ней думаете, что под конец воображение разыгрывается.

– Нет, не воображение. Отцовский глаз зорок.

– Она всегда и задумчива, и молчалива. У нее скрытный характер. – В душу к ней не заглянешь.

Алексей Петрович замолчал и стал повертывать ложку в чашке, но чашки в руки не брал.

– Стоит вам варить и наливать кофе, – кисло сказала Варвара Матвеевна. – Для вас всегда стараются, о вас всегда заботятся, а вы и не видите, и не слышите. Что же вы не пьете? Если бы Вере и нездоровилось, – разве ей станет легче от того, что кофе в чашке простынет?

Что-то вроде дрожи пробежало по лицу Алексея Петровича. Он наклонил голову и принял за кофе.

Варвара Матвеевна действительно заботилась об Алексее Петровиче, но заботилась по-своему. В домашнем обиходе все делалось для него, но делалось именно так, как рассуждала она. Часы для всего назначались в видах удобства для него, но Варвара Матвеевна решала, что считать удобным или неудобным, как в этом отношении, так и в других. Алексей Петрович вставал рано; но Варвара Матвеевна сама варила для него кофе, и потому он должен был выждать, чтобы пить кофе, того часа, когда она сама привыкла его пить. Он любил отдыхать перед обедом и обедать, по возможности, поздно, потому что почти ничего не мог есть за ужином; но Варвара Матвеевна находила, что для его здоровья был нужен более продолжительный промежуток между обедом и ужином, и потому назначила для обеда более ранний час. Алексей Петрович не любил большого тепла в комнатах; но Варвара Матвеевна опасалась для него простуды и потому настаивала в зимнее время на усиленной топке печей, а весной и осенью неохотно позволяла открывать окна.

– Перемена произошла, как теперь припоминаю, со второго дня праздников, – сказал Алексей Петрович, завершая вслух ряд мыслей, бывших продолжением прерванного между ним и Варварой Матвеевной разговора.

– Вот и доказательство, что у вас воображение расходилось, Алексей Петрович, – заметила Варвара Матвеевна. – Теперь вы уже дня перемены доискались, и ровно через неделю, а прежде не догадывались.

– Я помню, что мы с нею выходили для прогулки, после обеда, и что она почти во все время прогулки молчала, хотя обыкновенно бывает в духе и разговорчива, когда мы с нею ходим вдвоем. На следующий день повторилось то же самое. Я спросил, здорова ли она, и тогда она только сказала, что дурно спала две ночи.

– А после того? Еще не далее как вчера вы с нею доходили до Кремлевского сада. Конец порядочный при нездоровье. Разве она по-прежнему все была молчалива?

– Нет, но мне показалось, что она себя принуждала быть разговорчивой.

– Давно знаю, что вас не переспоришь.

Алексей Петрович замолчал, потом встал и, не допивая налитой ему второй чашки кофе, вышел из комнаты.

– Нечего сказать, – проговорила сквозь зубы Варвара Матвеевна, подливая сливок в свою вторую чашку, – весело с вами живется... Вы хныкаете, или отмалчиваетесь, как будто перед вами все провинились...

– Тетушка, – сказала вошедшая Вера, – ковер готов. Я его разложила у себя на полу. Не угодно ли взглянуть?

– А! наконец готов – хорошо, хорошо, сейчас приду.

Варвара Матвеевна поторопилась справиться со своей второй чашкой и, закусив ее последним куском разрезанной на тонкие ломтики просфоры (другого хлеба Варвара Матвеевна с утренним завтраком не употребляла), отправилась в комнату Веры.

Ковер был, бесспорно, хорош. Узор красив и наряден; шитье безупречно. Варвара Матвеевна медленно обошла его с трех сторон, не обращенных к свету, нагнулась, чтобы приподнять один конец и ближе всмотреться в шитье, потом несколько отступила назад, чтобы лучше оценить общий эффект. Вера следила за ее глазами и движениями. На лице молодой девушки сказывался вопрос: не поблагодарит ли она под конец? Но Варвара Матвеевна не благодарила, и ее лицо не выражало ни признательности, ни даже одобрения.

– Ровны ли полосы? – спросила она.

– Кажется, ровны, – отвечала Вера. – Я их несколько раз мерила и смеряла.

– Вторая, с правого края, как будто длиннее.

Вера нагнулась и, поправив положение соседней полосы, сказала:

– Длина одинакова, тетушка. Вы приподнимали конец другой половины, и при этом края разошлись.

– Теперь следует подбить и обшить. Нужно тотчас послать за обойщиком.

– Я уже посылала, тетушка. Он будет часа через два.

Варвара Матвеевна еще раз обошла вокруг ковра, и ее угрюмое лицо стало проясняться.

– Отец благочинный будет доволен, – сказала она. – Очень доволен. Он не ожидает такого сюрприза. Ковер хорош. Да, очень хорош! Спасибо, Вера. Ты меня очень одолжила.

Варвара Матвеевна подошла к Вере и, взяв за оба предплечья, поцеловала в лоб. Вера поцеловала у нее руку.

– Очень рада, что вы довольны, тетушка, – сказала Вера.

– Довольна, вполне довольна. Ты потрудились порядком... Но зато ты и помучила меня... то есть, не ты сама, а твой отец благодаря тебе. Он все тревожился, что ты будто работаешь слишком усидчиво, что ты заболешь, и прочая, и прочая. Он мне покоя не давал. Он и сегодня даже своего кофе не изволил выкушать. Он находит, что ты как-то изменилась со второго дня праздника, и молчалива стала, и Бог знает что еще... Одним словом, сетованиям конца не было.

По мере того как Варвара Матвеевна перечисляла все то, что, по ее мнению, она вытерпела от зятя, ее лицо все более и более хмурилось; на нем восстанавливалось обычное угрюмое выражение, и даже в голосе слышалось постепенно возраставшее раздражение.

– Папá всегда о мне беспокоится, – тихо сказала Вера, – но он принимал большое участие в моей работе; он напоминал мне несколько раз о выборе для узора цветов, которые особенно нравятся отцу благочинному, и о том, что для бахромы вы желали темно-красного с белым, потому что этими цветами окрашена его церковь.

Лицо Варвары Матвеевны снова прояснилось под влиянием перехода ее мыслей от Алексея Петровича к отцу благочинному.

– Да, да, – сказала она, – я действительно придумала эти цвета для бахромы. Это понравится Поликарпу Борисовичу. Впрочем, я уверена, что и все в твоей работе ему будет нравиться. Он и тебе будет очень благодарен, и всем, показывая мой подарок, будет всегда говорить, что ты в нем приняла участие...

Варвара Матвеевна на несколько мгновений остановилась; потом, бросив косой взгляд на Веру, прибавила:

– И Борис Поликарпович будет хвалить твою работу.

Вера смотрела на ковер и как будто не слыхала последних слов тетки.

Варвара Матвеевна сердито взглянула на нее и сказав, что сама переговорит с обойщиком, вышла из комнаты.

Глубокий вздох вырвался из груди Веры. Она простояла с минуту в раздумье перед ковром, потом подошла к окну, придвинула стул, села и, облокотясь на подоконник, стала всматриваться в бежавшие по голубому небу весенние облака. Их белые кучки неслись одна за другою, окрыляемые южным ветром и беспрерывно изменяя очертания своих полупрозрачных окраин. Так наши мысли в минуты душевных волнений меняют свой облик, сменяются одна другой, но подчиняются одному, над ними господствующему и их направляющему чувству. «Быстро несутся они, – думалось Вере, – быстро дни уйдут за днями; все позеленеет, все расцветет; все будут радоваться весне; мне одной она не на радость...»

Вера не заметила, что в комнату вошел Алексей Петрович. Он остановился в трех шагах от дочери, заботливо наблюдая за ней и как будто опасаясь внезапно прервать ее раздумье. Наконец, он сделал еще шаг вперед. Вера вздрогнула, увидела его и встала.

– Извините, папá, – сказала она, – вы вошли так тихо, что я этого не слыхала.

Снегин поцеловал дочь и, усадив ее на прежнее место, сам сел у окна против нее.

– Я заметил, что ты задумалась, – сказал Алексей Петрович, – и я сам над тобою призадумался. – Это не в первый раз, Вера. Скажи мне, что с тобою? Ты изменилась, стала грустна, молчалива. О чем грустишь ты? Или что так заботит тебя?

– Ничего, папá, меня особенно не заботит. Вы знаете, что мне часто случается не казаться веселой.

– Знаю, но теперь чаще и постоянное вижу то, что прежде замечал по временам и ненадолго. Теперь не одна Варвара Матвеевна тебя печалит.

– Вспомните, папá, что на меня весна и лето как-то особенно наводят грусть. В прошлом году было то же самое.

– Было, но не так, как теперь, Вера. Вера, ты знаешь, что ты у меня еще постоянное в мыслях и сердце, чем на глазах. Живу для тебя, живу тобой. Ты одна моя радость, мое утешение. Я человек не хитрый, простой; но кто любит, тот и без хитрости видит. Ты знаешь, я сам грущу часто, и есть о чем мне грустить; но свою грусть легко выносить при Божией помощи, а твою видеть так тяжело, что и молитва не помогает.

Вера взяла отца за руку и несколько раз поцеловала ее.

– Добрый, милый папá, – сказала она, – простите, что я вас печалю; хотелось бы только радовать, но Бог силы не дает. Гляжу на вас и вижу, какую вы ради меня тяжелую жизнь выносите. Мне и теперь думалось, что настанет весна, что все ей будут радоваться, что и тепло, и солнце, и зелень как будто для всех праздник устроят. Для вас и для меня мало будет простора на празднике. Вы будете летним тружеником, как были зимним. Я буду летней затворницей. Тетушка будет летом тою же самою, как была в зиму.

– Ее сердцу не дано согреться, – заметил с горькой улыбкой Алексей Петрович, – но к этому ты уже успела по привыкнуть.

– Привыкла, папá; но что жестко и холодно, то все-таки кажется холодным и жестким. Прошу вас об одном: сохраните меня при себе. Защитите меня от старания прочить мне сподручных ей женихов.

– Каких женихов? Неужели она опять заговаривает о сыне своего приятеля-благочинного?

– Еще сегодня она упомянула о нем; но я показала вид, будто не слыхала или не поняла намека.

– На этот счет будь спокойна. Я этому нахальному полубаричу довольно ясно показываю, что он мне не любезен, и он почти перестал ходить к нам.

– Перестал ходить, но не перестал думать о том, о чем и прежде думал. Не я ему нужна, а нужны деньги тетки, которые будто мне должны достаться.

– Ее деньги! Из-за них мы уже немало вытерпели, но судьба так указала... Ты знаешь, почему я прежде из ее рук не мог вырваться; знаешь, почему не могу вырваться и теперь.

– Знаю, папá; но при вас терпеть легко. Только не отпускайте от себя.

– Не приведи Бог к тому, чтобы я с тобой расстался! Разве ты по сердцу сама найдешь жениха. Но Вера, Вера, нет ли еще чего-нибудь у тебя на уме? Будь откровенна со мною. Ты знаешь, что мне можно доверять во всем и все доверять.

Вера опустила глаза и молчала.

– Прошу тебя, – продолжал Алексей Петрович, – ради тебя самой. Тебе легче станет, если ты выскажешься и со мною поделишься твоими мыслями. В них ничего худого быть не может.

– Поверьте, папá, – сказала Вера, – ничего худого у меня нет на уме. Но будьте снисходительны к тоске, которая иногда мною овладевает. Если бы пришлось что-нибудь вам сказать о себе, я сказала бы. Если придется – скажу.

– Обещаешь сказать?

– Конечно, обещаю.

– Хорошо, Вера; я буду ждать. Напоминать не буду; но ты сама помни обещание.

Алексей Петрович встал. Вера обняла и поцеловала отца.

– Добрый папá, – сказала она, – как мне не помнить? Кому, если не вам, говорить то, что у меня на душе?..

– Теперь прощай, Вера; мне пора на службу. Ты знаешь, что я и там о тебе думать не перестану.

– Знаю, папá, – сказала Вера.

Между тем горничная доложила Варваре Матвеевне о том, что пришла Татьяна Максимовна Флорова.

– Проси, проси, очень рада, – сказала Варвара Матвеевна и пошла навстречу г-же Флоровой.

– Она ей всегда рада, – прошептала горничная, пропустив Татьяну Максимовну в дверь, но не затворив плотно двери и остановившись за ней. – Змея знает, что ей угорь сродни.

Никто не знал в точности, кто Татьяна Максимовна и откуда она. Она слыла вдовой и даже значилась вдовой какого-то интендантского чиновника в своем виде на жительство; но никто не помнил ее мужа, и приезжавшие в Москву другие интендантские чиновники не помнили, чтобы какой-нибудь Флоров был их сослуживцем. Какие средства к жизни имела Татьяна Максимовна – оставалось неизвестным; когда именно и по какому случаю она появилась в Москве, было также неразрешенным вопросом. Ее первые знакомые, вероятно, были преклонных лет или не пользовались обычной долговечностью, потому что из них никого в живых не осталось. При наведении справок всегда оказывалось, что какие-нибудь покойный «он» или покойная «она» знали Татьяну Максимовну прежде всех, кто ее знал теперь, и им завещали выгоды этого знакомства. Таких выгод было немало, и у Татьяны Максимовны не было знакомых, кроме тех, которые ценили эти выгоды. Татьяна Максимовна была на все пригодна: для собирания и разноса вестей, для всяких осведомлений, поручений и посылок, для того, что просто называется компанией, и для живейшего участия во всех видах семейных радостей и печалей. Никто не бывал так часто на свадьбах, крестинах, панихидах и похоронах. Никто не плакал так легко и так охотно не радовался. Никто не вел такую подвижную, дружелюбно-рассыпчатую жизнь. Татьяну Максимовну трудно было застать дома. Она выходила с утра и возвращалась для ночлега. У нее были знакомые для всех часов дня, во всех частях города и почти во всех классах жителей, особенно среди приходского духовенства, чиновни-

ков, а также среднего и низшего купечества. В этих кругах Татьяна Максимовна даже усвоила себе особые, по ее суждению, для них пригодные оттенки речи и говорила полуцерковным языком у благочинного Фимиимова, полупромышленным у хлебного торговца Мешкова и полуканцелярским у столоначальника Газетникова.

– Ну что, милая Татьяна Максимовна, что узнали вы? – спросила Варвара Матвеевна, облобызавши свою гостью. – Пора было вам прийти с ответом. Вы с третьего дня праздника словно в воду канули.

– Нельзя было, матушка Варвара Матвеевна, вас навестить ранее. У меня на праздниках не вы одни на помине. Нужно было и там и сям побывать. Меня – сама не знаю за что, – а многие голубят. Вчера целый день на том краю была, на Разгуляе и в Басманных; третьего дня Замоскворечье объездила. Концы-то все какие! А вашего поручения все-таки не забыла. Еще сегодня наводила справки по соседству – да и явилась.

– Ну садитесь же, говорите – есть там под спудом что-нибудь или нет?

– Кажется, нет, Варвара Матвеевна. На первый взгляд и могло показаться – а как ближе всмотреться, так и выходит, что ничего, – разве мысли какие, но за мыслями не угоняешься.

– Да порядком ли вы справились? Мне, напротив, думается, что тут непременно что-нибудь творится и кроется.

– Крыться-то нечему, матушка. Я у людей узнавала, виду не показывая, что хочу узнать, и Клотильду Петровну как будто случайно спрашивала, и у старика Леонина в доме была. Там жена повара мне кума, Все ничего путного не выходило. Да, бывают, встречаются – но редко, и ни он ею, ни она им не занимаются.

– Да полно, так ли? Если встречаются, то почему же знают так досконально, занимаются ли они друг другом или не занимаются?

– А потому что видно, что встречи случайные. Он более бывает у Крафтов, когда ее нет, а она более когда его нет.

– Вам, может быть, правды и не сказали.

– Со вчерашнего дня я родилась, что ли, Варвара Матвеевна? Как будто я лиц не знаю, и спрашивать не умею, и по косточкам не разбираю того, что вижу и что мне говорят. Да лучше всего то, что он с отцом уезжает года на два за границу.

– Как – уезжает?

– Да так, как едут: сперва куда-то на воды, а там и далее. Старик и дом здесь распускает. Повар отходит. Чего же вам более?

– А! Уезжает! И года на два! Это ладно. Тут хотя бы и завелись какие-нибудь мысли, – улететь успеют. Спасибо, Татьяна Максимовна. Не хотите ли моих конфект отведать, как намерни? Они там, в столе, в первом ящике.

– Благодарю, матушка Варвара Матвеевна, благодарю. Признаюсь, я до них охотница.

И Татьяна Матвеевна направилась к столу отыскивать конфекты.

IV

Карл Иванович Крафт был владельцем и распорядителем одной из известнейших в Москве аптек.

Медицинская фармацевтическая часть долго держалась у нас, и даже до сих пор большей частью держится, несмотря на нивелирующее и растворяющее влияние времени, на уровне более высоком, чем на европейском западе. Врачи дорожат своим нравственным достоинством и не эксплуатируют больных с тем циническим равнодушием, которое там составляет весьма не редкое явление. Отношения больного к врачу у нас еще не носят на себе печати чисто утилитарного договора, и врачебная помощь бедным более, чем где-либо в других странах, обеспечена, если только есть вблизи медик. Фармацевты обладают полным научным образованием и также не относятся к своему делу с чисто промышленной, утилитарной неразборчивостью. Больной почти всегда может быть уверен в старательном приготовлении медикамента, и если его нуждающееся положение известно аптекарю, то может, большей частью, быть уверен в получении этого медикамента по сбавленной цене или даже безвозмездно. К числу таких добросовестных и человеколюбивых аптекарей принадлежал Крафт. Он пользовался большим уважением со стороны московских врачей и был особенно популярен в той части города, где находилась его аптека. Не только бедные, но и полудостаточные обыватели этой местности знали его лично, звали просто Карлом Ивановичем и обращались к нему не только за медикаментами, но иногда и за медицинским советом, потому что в случаях не сложных и не важных Карл Иванович мог дать добрый совет, при своих знаниях и опытности, не прибегая к помощи промовированного врача. Отец Крафта долгие годы владел той же аптекой и вместе с ней оставил сыну порядочное денежное состояние, позволявшее ему жить в скромном довольстве и, кроме того, не стесняться в обеспечении нужными средствами своих двух сыновей. Младший еще был студентом в Дерпте, а старший, прежний университетский товарищ и приятель молодого Леонина, уже начинал приобретать известность в кругу петербургских медиков. Близкие отношения Снегиных к Крафту и к его жене Клотильде Петровне установились еще при жизни покойной матери Веры, Надежды Матвеевны Снегиной, которая была с детства знакома и во всю жизнь дружна с Клотильдой Петровной. Надежда Матвеевна скончалась, когда Вере только что минуло четырнадцать лет, и с той поры Клотильда Петровна относилась к ней с самой постоянной и живой, почти материнской заботливостью.

Была половина мая. Карл Иванович и Клотильда Петровна сидели после обеда у открытого окна. Карл Иванович курил, по обыкновению, одну из приберегаемых для послеобеденного часа своих лучших сигар, присланных ему сыном из Петербурга, и курил медленно, с расстановками, наблюдая за нараставшим на конце сигары, но от нее не отделявшимся серебристым пеплом. Клотильда Петровна, которая никогда не могла просидеть десяти минут без какого-нибудь занятия, вышивала с руки красными бумажными нитками какой-то из ряда петушков составленный так называемый национальный узор на полотняной сорочке, предназначавшейся для ее крестника, малолетнего сына служившей у Крафтов поварихи.

– Досадно и грустно, – сказала Клотильда Петровна, поправляя надетые ею очки, – подмечать, как с годами все силы и способности идут под гору. Не могу ходить, как ходила прежде. Не могу ни уснуть, ни спать, как прежде засыпала и спала. Теперь не могу обходиться без очков при какой-нибудь мелкой ручной работе. А между тем и к очкам не могу привыкнуть; они как-то все скользят на носу, и со мной беспрестанно случается, что я смотрю не в очки, а через очки, и оттого начинаю портить мою работу.

– Общий удел, – сказал отрывисто Карл Иванович. – Сначала в гору, потом по горе, а там и под гору.

– Однако зрение вдаль не ослабело. Я отлично вижу без очков стрижей, которые реют над домом. Отчего эта разность между дальним и близким? Казалось бы, что если глаза слабеют, то чем далее, тем менее они могут видеть.

– На это есть физическая причина, но кратко ее объяснить нельзя.

В эту минуту четыре стрижа, преследуя друг друга и перегоняя один другого со свойственной им быстротой полета, пронесли мимо окна. Шум полета явственно послышался в комнате.

– Как быстро летают они! – сказала Клотильда Петровна, сняв очки и смотря в окно на стрижей.

– Гм! очень быстро, – отвечал Карл Иванович.

– Ни одна птица, кажется, так быстро не летает, и притом с такими неожиданными поворотами. То колесо вправо, то влево, то вниз, то вверх.

– Бекас так летает; но бекасы не летают кучками.

– Я говорила про упадок сил на старости. Между стрижами не заметно стариков.

– Здесь их нет.

– А почему?

– Потому что они сюда не возвращаются и гибнут на зимовьях.

– Ты сегодня неразговорчив, – заметила Клотильда Петровна, – и ни разу не посмотрел в окно.

– Мне не до стрижей, – сказал Карл Иванович.

– Ты и за обедом был молчалив сегодня. О чем думаешь ты?

– Думаю о том, о чем тебе говорил уже несколько раз. Мы с тобою поставили себя в неловкое положение.

Клотильда Петровна ничего не ответила и, надев очки, снова принялась за работу.

– Да, – продолжал Карл Иванович, – в положение весьма неловкое, хотя, должно сказать, мы к нему пришли невольно и почти безвинно. Это не изменяет результата. Дела Веры и Леонида зашли очень далеко. Но какой им исход? Не вижу. Горе будет; горе уже есть. И мы за него ответственны.

– Почему же мы ответственны и в чем ответственны? – спросила Клотильда Петровна.

– Ответственны потому, что они у нас постоянно виделись, и ответственны в том, что частные встречи дали развиваться и окрепнуть чувствам, которые к доброму концу привести не могут.

– Мне кажется, напротив, что они должны привести к доброму концу. Искренность чувств очевидна. Оба характера стойки и достаточно определились, хотя при совершенно различных условиях. Знаю, что ты моего взгляда не разделишь; но я во всем, что произошло, вижу знамение судьбы. Судьба часто по-своему решает участь людей. Мы сами здесь были только орудиями судьбы.

– Судьба! Знамение судьбы! Орудия судьбы! – повторил Карл Иванович. – Это подчас удобные обороты речи, для того чтобы дела людей приписывать не им, а влиянию какой-то таинственной силы, которая будто бы ими распоряжается. Есть случаи, конечно, где судьба не пустое слово и орудия судьбы не пустая фраза; но таков ли нынешний случай? Что в нем особенного, чрезвычайного, нечаянного? Что не могло быть предвидено? Молодой человек и молодая девушка встречаются у добрых знакомых, видятся часто, начинают друг другу нравиться, наконец, любят друг друга. Все это самая простая, обыденная повесть. Но дело в препятствиях к тому, чтобы взаимная любовь привела к прочному и законному союзу. Если препятствия с самого начала не только могли быть предусмотрены, но были явны, то об этом следовало подумать тем другим, уже не молодым людям, у которых молодые виделись, и виделись так часто, так удобно для постепенного развития взаимной привязанности.

– Я не вижу непреодолимых препятствий, – сказала Клотильда Петровна, отложив в сторону свою работу. – Если бы препятствий вовсе не было, я не заговорила бы о судьбе. Особливость и нечаянность случая состоят именно в данных препятствиях. Но какие они? Неравенство общественного положения? Это предрассудок. Или неравенство денежных средств? Это даже и не предрассудок. Когда достаточные средства есть с одной стороны, то без них можно обойтись с другой.

– Легко говорить о предрассудках; но справляться с ними трудно. В неравенствах есть неудобства совершенно непредрассудочные – например, тетки вроде Варвары Матвеевны Сухоруковой. Впрочем, я даже мог бы тебя спросить, почему ты с такой уверенностью рассчитываешь на отсутствие предрассудков в самом Леонине. Кто тебе порукой в том, что у него установились предполагаемые тобой твердые намерения и решимость? Ведь могло бы случиться, что именно под влиянием искренности своих чувств он не даст себе точного отчета в своем положении, что теперь его увлекает сердце, – но потом сила обстоятельств возьмет свое и его остановит?

– Ты забываешь, что мы не со вчерашнего дня и не поверхностно знаем Леонина. Благородный характер ручается за благородство поступков.

– Согласен; но разве он вполне себе хозяин? А его отец? Старик, по всей вероятности, не подозревает и тени того, что происходит.

– В этом и заключаются препятствия. Я сама этим тревожусь. Но скажи мне, мой друг, почему твои сомнения и опасения вдруг так усилились? Дело давно у нас под глазами, и ты еще перед праздниками говорил со мной о Вере и о Леонине, но говорил не так, как теперь.

– Каюсь в этом. Я несколько слегка, скажу – легкомысленно, смотрел на дело, не наблюдал старательно и не думал, что взаимная привязанность была так сильна. Но с той поры как решен отъезд за границу, и притом на долгое, быть может, на неопределенное время, оба они так печальны, так нравственно угнетены, что я на них смотреть не могу. Если бы не мы, то не было бы всего этого горя и всего, что может от него произойти.

– Разве здесь одно только горе? – спросила Клотильда Петровна. – И разве впереди ничего не может быть, кроме горя? Во всяком случае, чем мы виноваты? Что могли мы делать при данных обстоятельствах? Вспомни, что Леонин познакомился с нами благодаря своей дружбе с нашим Вильгельмом. Он стал часто бывать у нас, когда в предпрошлом году у нас гостил Вильгельм. Мы его тогда видели почти ежедневно. Мы его полюбили благодаря тому, что о нем говорил Вильгельм, а затем и потому, что мы сами его ближе узнали. Вспомни, что ты сам мне сто раз говорил, что он по складу ума, привычкам, взглядам и чувствам резко выделяется из молодых людей нашего времени и своего круга, что даже его отношение к нам и удовольствие, которое он находил в нашей скромной семейной среде, доказывали это. Сначала он вовсе не встречался так часто с Верой, и ничто не могло нам приводить на мысль, что он ее полюбит. Все случилось и установилось так естественно, постепенно, почти незаметно, что нам вдруг представился вопрос не открытый, а уже решенный. Что же могли мы сделать? Оттолкнуть Леонина, друга нашего сына и нашего друга, только за то, что он сумел оценить по достоинству и полюбить Веру? Или оттолкнуть бедную Веру, которую мы любим как дочь, которая для меня живая и милая память ее покойной матери, которая при тяжелых условиях ее жизни у нас одних находит себе утешение, и притом несомненную нравственную и умственную пользу? И оттолкнуть ее только за то, что ее оценил и полюбил Леонин и она полюбила его? Если бы мы так поступили, то действительно приняли бы на себя ответственность за чужие судьбы.

– Все это так – но что же будет далее? – сказал Карл Иванович, бросив в пепельницу конец своей сигары и встав со своего места с явным выражением волнения на его обыкновенно спокойном лице. Он стал ходить взад и вперед по комнате, потом остановился у окна и продолжал:

– Мы такой ответственности на себя не приняли, но зато приняли дружую, двоякую.

– Какую двоякую ответственность? – спросила Клотильда Петровна.

– Во-первых, в том, что в ходе дела не вступились, что, однако же, от нас зависело и что для нас должно иметь особое значение перед отцом Веры, который нам так добродушно вверял свою дочь. Во-вторых, в том, что перед светом мы, во всяком случае, ответственны.

– От света не уберешься. Впрочем, ему не до нас, и никто не заботится о том, что у нас в доме происходит.

– Не совсем так. Недаром к тебе на днях в третий раз приходила несносная Флорова. Зачем приходила она? Разве она явно не старалась что-нибудь разузнать о Вере и Леонине? Следовательно, ее подсылали.

– Разумеется, и подсылала, конечно, ядовитая тетка, а не добродушный Снегин. Но я так сбила ее с толку, что она ни до чего не могла додуматься.

– Пожалуй, – на этот раз; но под конец все додумаются, и в том числе и бедный Снегин. Какой ответ дадим мы ему, если он к нам обратится с упреком?

– Ответ за нас даст Леонин. Я в этом не сомневаюсь. Впрочем, ты в последнее время стал явно холоден с Леониным. Ты ему даешь чувствовать, что его отношения к Вере, или, по крайней мере, неопределенность этих отношений, тебе в тягость. Он, видимо, огорчен этим.

– Да, и мне жаль его огорчать; но я к тому считаю себя теперь обязанным.

– Ты бы должен был с ним прямо объясниться.

– Я уже с неделю собираюсь это сделать; но до сих пор то не находил удобной минуты, то, признаюсь, не решался воспользоваться случаем, когда он представлялся.

– Вот случай, – сказала Клотильда Петровна. – Он сюда едет.

Дрожки Леонина остановились у крыльца. Он увидел Клотильду Петровну у окна, снял шляпу и взошел на крыльцо.

– Знаешь что, – сказал Карл Иванович, – объяснись ты. Женщине это легче. От нее все звучит мягче, и ты большая мастерица говорить так, что другим не больно даже и тогда, когда ты говоришь неприятное.

С этими словами Крафт торопливо вышел в боковую дверь. В другую дверь вошел Леонин и на одно мгновение остановился, как бы оглядываясь в комнате. Потом он подошел к Клотильде Петровне, подал ей руку и спросил:

– Где же Карл Иванович? Мне показалось, что я его видел с вами в окне.

– Он только что вышел, – отвечала Клотильда Петровна. – Его позвали, но он к нам вернется.

Леонин внимательно посмотрел на свою собеседницу; потом сел против нее у окна и сказал:

– Мне нужно с вами переговорить, Клотильда Петровна; но начну с двух вопросов: могу ли говорить с вами доверчиво и вполне откровенно и могу ли рассчитывать при этом на вашу обычную доброту ко мне?

– В ответ на тот и другой вопрос скажу просто: что вы меня знаете и знаете мою дружбу к вам.

– Благодарю вас, и еще благодарю за то, что в вас я не мог заметить даже и той перемены, которую должен был заметить в вашем муже.

– И в нем нет перемены, Анатолий Васильевич.

– В сердце и мыслях, надеюсь, нет; но во внешних приемах есть, – и я на это сетую. Я это понимаю. Я, может быть, должен был ранее сказать то, что скажу теперь; но обстоятельства сначала слагались так, что я мог медлить, и к тому имел основание; потом они приняли оборот, при котором на первых порах мне было не до объяснений. Я вам верил и думал, что вы мне, в свою очередь, верите и без слов меня понимаете. Если в вашем доме, на ваших глазах, благодаря вашей приязни и добродушному доверию Вера и я могли стать друг для друга тем, чем мы стали, если вы могли говорить обо мне с Верой, как вы обо мне говорили, если вы

не колебали в ней доверия ко мне, – а я знаю, как вы говорили и что вы доверия не колебали, – то, конечно, не я вам дам повод сожалеть об этом и думать, что и вы и Вера во мне ошиблись.

– Я в вас никогда не сомневалась, – сказала Клотильда Петровна.

– Я на то и полагался, – продолжал Леонин, – и думаю, что вы понимали, почему я откладывал всякое до времени не необходимое объяснение. Я надеялся, что отец возвратится сюда на зиму, и тогда думал сказать ему о моих намерениях. Я надеялся на успех предпринимаемого им лечения и ласкал себя мыслью, что моя поездка с ним могла быть новым поводом к его расположению и снисхождению ко мне и облегчит окончательное с ним объяснение. С другой стороны, признаюсь, мне тяжело было решиться преждевременно услышать все то, что мне непременно придется услышать при таком объяснении. Болезненное состояние моего отца и неизбежная при таком состоянии раздражительность вообще затрудняют мне всякую, лично для меня относящуюся просьбу. Еще гораздо затруднительнее такое объяснение или такая просьба, которые для него совершенно неожиданны и должны произвести сильное, и притом, без сомнения, неприятное впечатление. Если бы до меня одного относилось то, что отразится в этом впечатлении и под его влиянием выскажется, то мне было бы относительно легко все выслушать. Но подумайте о том, что будет говорить о Вере! Против нее будут направлены и сомнения, и возражения, и отрицания, которые, собственно, должны были бы направиться против меня. Неизбежные оскорбительные отзывы о ее общественном положении и о ней самой – оскорбительные без намерения, быть может, даже весьма естественно вызываемые данными обстоятельствами, – но для меня, тем не менее, глубоко прискорбные и оскорбительные. Пренебрежение к среде и обстановке неизбежно отразится и в отзывах о лице. Мне это будет невыразимо тягостно. Я буду защищать Веру, буду говорить о ней правду; но разве моим словам, по крайней мере на первый раз, может быть придано значение правды? Вот что меня тяготило прежде и тяготит теперь. Но делать нечего. Высказаться нужно. Нужно даже по отношению к Вере и к ее отцу. С тех пор как решен вопрос о нашем отъезде, а время возвращения осталось неопределенным, – во всяком случае представляется далеким, – я был так взволнован, могу сказать, так терзаем печалью, что долго ни на что не решался и только думал о Вере и о том, как ее успокоить и уверить в неизменности моих чувств и непреклонности моих намерений. Вы это, конечно, заметили. Но решительная минута настала. Мы уезжаем в воскресенье вечером в деревню, а оттуда вернемся уже только для того, чтобы с одной железной дороги передвинуться на другую. Завтра я переговорю с отцом. Вечером буду у вас. Надеюсь застать у вас Веру. А там я уже попрошу вас переговорить с ее отцом. Мне с ним лично объясняться пока не приходится; но вы все можете высказать и все объяснить. Исполните ли вы это?

– Охотно и от всего сердца исполню, – сказала с чувством Клотильда Петровна, у которой два раза выступили на глазах слезы, пока она слушала Леониного. – Вы добрый, милый, благородный человек – извините, что я вам говорю это. Но вы знаете нашу немецкую пословицу: «Избыток сердца просится на уста». Вы по-русски говорите то же самое, но как-то иначе. Вы знаете, что в нас обоих вы имеете верных, преданных друзей; друзей, которые вас ценят, уважают, любят и вашу Веру любят как дочь. Всегда и во всем вы можете на нас рассчитывать и нами располагать.

– Благодарю вас, добрая Клотильда Петровна, – сказал Леонин, вставая. – Вполне надеюсь на вас. Если я уезжаю, и могу уехать наполовину успокоенным, скажу даже, полуутешенным, то потому только, что знаю, что вы будете Вере и помощью, и защитой. Ее отец к этому не в силах. Он себя ей приносит в жертву насколько может; я это знаю и уже успел своими глазами увидеть, но я знаю и то, что без вас он почти напрасно жертвовал бы своими трудами и домашним покоем. В вас и в вашем муже та семья Веры, которая ей служит прочной опорой. Вы увидите Веру прежде меня. Передайте ей то, что я вам говорил сегодня, и скажите, что завтра я сам ее увижу у вас.

– Я тотчас же пойду к ней, – отвечала Клотильда Петровна. – До свидания, Анатолий Васильевич. С вами и с нами Бог.

Леонин вышел. Клотильда Петровна проводила его до выхода на крыльцо и возвратясь в комнату, где из окна могла еще увидеть его удалявшиеся дрожки, уже застала в ней своего мужа.

– Что же? – спросил Карл Иванович. – Говорила ли ты с ним?

– Мне говорить было не нужно, – отвечала Клотильда Петровна. – Он сам обо всем заговорил и со мной объяснился. Он для того приехал. Он прекрасный, благороднейший молодой человек. Он завтра переговорит со своим отцом и завтра вечером будет у нас.

– Слава Богу! – сказал Карл Иванович. – У меня камень с сердца скатился. Но что же именно сказал он тебе?

– Все, что следовало, все, чего я могла ожидать. Но теперь некогда мне тебе это рассказывать. Позже расскажу подробно. Теперь мне нужно сейчас идти к Вере. – И Клотильда Петровна торопливо вышла из комнаты.

V

Василий Михайлович Леонин сидел за письменным столом, покрытым разного рода бумагами, письмами, счетами, памяtnыми и записными книжками – одним словом, всем тем, что неизбежно загромождает письменные столы при сборах к отъезду вдаль и на долгое время. Василий Михайлович распределял в известном порядке одни бумаги, рвал и бросал другие, уничтожал почти все письма, но не уничтожал счетов, а делил их на две неравные кучки и складывал кучки рядом, на краю стола. Он несколько раз перебирал эти кучки, призадумывался, перекладывал счета из одной кучки в другую, изменял соответственно тому прежде сведенные на листе бумаги итоги; наконец, вынул из стола пачки денег, отсчитал сумму, которую положил на одну из кучек, а другую кучку с оставшимися деньгами положил в стол и запер. Потом он позвонил и спросил вошедшего камердинера, дома ли Анатолий Васильевич.

– Дома, – отвечал камердинер. – Они сегодня не выходили и не выезжали и только что присылали спросить, одни ли вы.

– Приси ко мне, – сказал Василий Михайлович, принимаясь за разбор оставшихся на столе немногих еще нераспределенных бумаг.

– Вы обо мне спрашивали, папá? – сказал вскоре вошедший Анатолий Леонин.

– Да, мой друг, я кончил разбор моих бумаг. Вот несколько счетов, по которым прошу тебя распорядиться платежами. Кроме того, сделай одолжение, вложи в отдельные конверты рассортированные мною письма и бумаги, напиши на конвертах обозначенные мною карандашом надписи и все уложи в то большое бюро. Таким образом все здесь будет приведено в порядок, и мне останется только заняться последними приготовлениями к отъезду.

– Угодно ли вам, чтобы я этим сейчас занялся? – спросил Анатолий.

– Да, если тебе досужно.

Анатолий молча принялся за исполнение данного ему поручения.

Прошло несколько минут. Василий Михайлович покончил со своим разбором и взглянул на сына.

– Здоров ли ты, Анатолий? – спросил Василий Михайлович. – Твое лицо мне сегодня что-то не нравится. Семен сказал мне, что ты осведомлялся, один ли я. Ты, следовательно, хотел о чем-нибудь переговорить со мной.

Молодой Леонин, в свою очередь, внимательно посмотрел на отца. Потом он отложил в сторону бумаги, которые пересматривал, и тихим, но твердым голосом сказал:

– Да, папá, мне нужно переговорить с вами, и на этот раз о самом себе.

Этот ответ и еще более выражение лица Анатолия и неподвижность взгляда, устремленного на Василия Михайловича, его видимо встревожили.

– О самом тебе? – повторил он. – Что же такое? Уж не затрудняешься ли ты ехать со мною?

– Нет, папá. Я, конечно, поеду, и вы знаете, что мне для этого дан отпуск. Но до отъезда я обязан вам высказать то, о чем до сих пор мог умалчивать.

– Анатолий! – сказал Василий Михайлович с возрастающим беспокойством. – Что скрывал ты от меня? Что случилось?

– Ничего не случилось еще; но должно случиться. Я еду с вами; но мне тяжело уезжать, потому что я оставляю за собой все, чем, кроме вас, для меня дорога жизнь и что теперь составляет цель моей жизни.

Василий Михайлович побледнел, встал и, опираясь одной рукой на стол, другой на ручку кресел, прерывающимся голосом спросил:

– Неужели ты без моего ведома, без моего согласия наложил на себя узы, которых расторгнуть не можешь? Неужели я должен услышать что-нибудь о заключенном тобою тайном союзе?

Анатолий также встал в сильном волнении.

– Нет, папá, – сказал он, – без вашего ведома и благословения я не мог заключить союза, о котором вы думаете; но я буду просить вашего благословения.

– Ты уже дал слово?

– Только самому себе; но я должен сдержать его.

– И ты не мог предупредить меня, не мог со мной объясниться ранее? Кажется, я имел право на твое доверие и даже заслужил его.

– Я молчал не по недостатку доверия. Прошу вас, папá, выслушайте меня терпеливо и снисходительно. Вы тогда сами в этом убедитесь.

Василий Михайлович опустил в кресло и сдержанным голосом сказал:

– Говори, я слушаю.

Анатолий сел по другую сторону письменного стола, против Василия Михайловича.

– Вспомните, папá, – сказал Анатолий, – наш разговор после заутрени на Пасху, когда вы упомянули о Веневских и меня удостоили такой дорогой для меня отцовской похвалы. Вы даже находили, что князь и княгиня могли бы вам позавидовать, а я отвечал, извиняя их сына, что обстоятельства часто могут и предохранить от ошибок и вовлекать в ошибки. Меня, быть может, предохранили от ошибок те именно обстоятельства, которые теперь привели к объяснению с вами. Когда я, по вашему желанию, оставил дипломатическую службу и переселился в Москву, я здесь почти никого не знал. Вам известно, что я вообще знакомлюсь не легко и еще менее легко подчиняюсь требовательным условиям так называемой светской жизни. Вы сами иногда критиковали, иногда хвалили, но более хвалили, чем критиковали, то, что вы называли моим домоседством и опережающими мой возраст привычками и наклонностями. Я, однако, не был затворником; я только предпочитал общение с людьми по доброй воле общению по принуждению. Случай привел меня к встрече, почти на другой день по приезде сюда, с тем университетским товарищем и другом, доктором Крафтом, с которым вы мне позволили вас познакомиться и которому вы сами оказали благосклонное расположение. Вы знаете, что он также меня познакомил со своим почтенным семейством, что его отец и мать оказали мне с первого дня самое чистосердечное расположение и радушное доверие и что с тех пор я у них бывал и бываю так часто, что сам почти стал членом этого семейства. Там я встретился с молодой девушкой, на которой мое внимание сначала не останавливалось, но остановилось впоследствии, когда я заметил, что по образованию, складу ума, уровню понятий и мыслей и даже по приемам и привычкам она была выше той среды, к которой она, собственно, принадлежит...

– Кто она? – спросил Василий Михайлович.

– Дочь скромного, но почтенного чиновника Снегина, вам, кажется, несколько известного, – Вера Снегина. Она в доме Крафтов своя, потому что ее покойная мать была очень дружна с г-жою Крафт. Она даже многим обязана Крафтам, по части своего образования. Случайное обстоятельство и здесь имело особое влияние. Я заметил, что молодая девушка вполне обладала немецким языком, но менее владела французским, и как-то вызвался быть ее практическим наставником или репетитором по этой части. Мы стали вдвоем всегда говорить на французском языке. Это как-то сближало нас. Мы привыкали друг к другу; но я сам долго не давал себе отчета в свойстве и последствиях этих сближения и привычки. Только в прошлую весну, когда мы уезжали в деревню, для меня выяснилось, до какой степени нам обоим стало трудно расставаться. Когда мы к осени возвратились в город, я убедился, что взял себе ее сердце, – и когда я в этом убедился, то окончательно отдал и мое, в обмен.

– Можешь ли быть уверенным в том, что отдал окончательно и бесповоротно?

– Я успел в этом увериться, папá, потому что с той поры началась во мне внутренняя борьба между ею и вами, то есть боязнью вас огорчить. Я медлил с признанием вам, потому что сам себя вопрошал и испытывал, зная, что признание должно было произвести на вас тяжелое впечатление. Я думал, что во всяком случае время мне поможет и что, продолжая исполнять мой долг перед вами, я между тем успею несколько более заслужить ваше снисхождение. Быть может, я и теперь медлил бы, если бы вы не решились на продолжительную заграничную поездку. Я вам сказал, что мне уезжать трудно; но мне было бы еще труднее уехать, если бы я не высказался и на все время нашего отсутствия оставил у себя на сердце тайну, которая была бы постоянной рознью между вами и мной...

Лицо Василия Михайловича становилось более и более мрачным; но оно выражало огорчение и озабоченность, а не гнев. Василий Михайлович опустил глаза и неподвижно слушал сына. Молодой Леонин, напротив того, не сводил глаз с отца, внимательно следил за отражавшимися в его чертах впечатлениями и по мере продолжения своей исповеди говорил с возрастающим оживлением. Когда он упомянул о нежелании оставить у себя на сердце рознь между ним и отцом, Василий Михайлович взглянул на него и отрывисто сказал:

– Ты хорошо сделал.

– Благодарю вас, папá, за ободрительное слово, – продолжал Анатолий. – Оно мне было нужно. Верьте, что все, что вы мне могли бы сказать против моих намерений, мною самим было сто раз себе говорено. Ваше неудовольствие, разрушение ожиданий и желаний, которые вы могли иметь, обманчивость веры в прочность моих чувств, возможность их перемены, возможность поздних и тщетных сожалений, неравенство общественного положения, бремя родни – хотя, к счастью, в данном случае такой родни почти нет – все это мною постоянно сознавалось. Я даже не забывал и неудобства бедности моей будущей невесты; но ведь у нас есть достаток...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.